

МАТУШКА ДА ГЛАГОЛЬ

ВЫСТРЕЛ

Осень подступила как-то незаметно, и всегда задумчивая, необъятная тайга сейчас роняла уже огрубевшие от первых заморозков листва. Стуча по оголенным веткам осин и берез, они долетали в недвижном воздухе до темной глади Лесного озера. Все лето бирюзовым оком смотрело оно из мрачных пихтаций, окружающих его, а теперь потемнело и спряталось среди холмиков таежной ширы. Угасал день. За матовыми разводами облаков, изрисовавших краешек западного горизонта, за черным морем тайги тонуло большое багровое солнце. Высвистывая крыльями, низко проходили сбитые стаи северной утки. Откуда-то из поднебесья падали на воду, в береговой осочник, залитый мелкой водой, чирки. Рассыпавшись веером, они плюхались разом и на какое-то время замирали. Вдруг вдали простуженными голосами «заговорили» гуси.

— Ну вот и началось, гусь пошел! — отметил про себя Матвей, сидевший на днище опрокинутой на берегу лодки. Из-под ладони он всматривался в даль, в разлившееся бесцветное позднеосенне небо, словно выпарившее из себя все облака.

— Пошла птица, пошла матушка. Осень на пятки. Поди уж и снежку где-нибудь подбросило, сиверок в воздухе чувствуется. Чует твой собачий нос? — обратился он к Венерке.

А Венерка, услышав Матвея, как прутом, застегала закрученным хвостом по лежальным прибитым дождями листьям. Она преданно заглядывала в серые глаза своего хозяина, спрятанные между навислыми седоватыми бровями и широкой белесой бородой.

Высоко угластой цепью тянулся к югу гусиный косяк. Строгие, с оттенком грусти и печали, голоса их резали даль. В прихлынувшей непонятной тревоге стало подрагивать сердце Матвея, и, не глядя уже на стаи пролет-

ных птиц, словно утратив на время слух, он опустил голову и вдруг ощущил особенно остро густой смолистый запах проваренной гудроном лодки. С этим запахом он отчетливо вспомнил ту далекую пору, когда еще босоногим мальчуганом, с такими же дружками, вот здесь, на этом берегу, где стояло большое село, купался он в этом озере до тех пор, пока зубы сами не начинали выстукивать мелкую дробь. Озеро тогда было большое и глубокое. По берегам тайга да сочные покосы. Стал подростком — с рассвета и дотемна на лугах да в лесу. Дел было много: старшим сыном был Матвей — первый помощник отцу. Здесь же он сказал первые теплые слова своей Дуняше, ставшей потом женой. Была война, окопы, ранения. Время по всему бьет. Теперь один, стар. Одиночество разделяет любимая собака — Венерка. Пестрая, бело-черная, небольшая лайка. Да, состарились село и селяне оставили его, в город выехали. Оскучела тайга. Обмелело и постарело озеро: заросло, местами загнило от топняка, стало больше на болото похоже. Только кладбище осталось таким, каким и было, — ощетинившееся старыми деревянными крестами. Осталась у Матвея и кудлатая, тоже постаревшая береза, которую они посадили с Дуняшой в день свадьбы. Вот и все, что у него осталось: Венерка, береза да кладбище, где похоронена его Дуняша. Матвей взглянул на мрачный холм, возвышающийся сразу за селом, отметил, что кресты заметно покосились. И вот он один здесь хранил верность всему прежнему, что напоминало его прошлую жизнь в этом селе. Вспомнил о внуках, что ждут его возвращения из лесу, где он проводил каждое лето.

— Поди, уж соскучились, пострелята, о деде Матвее, — подумал он, и легкая улыбка оживила мрачное лицо.

Между тем солнце погасло. Закат докипал горячими красками. От земли и воды тянуло холодом. А Матвей все сидел, словно прислушиваясь к звукам угасающего осеннего дня, к печальным перекликам птиц. И вдруг тугая струя воздуха до его слуха донесла отдаленный выстрел. «Неужели ослышался?» — напрягая слух, спрашивал себя Матвей. Но словно для того, чтобы он убедился, прозвучал второй. Глухое эхо второй раз прокатилось вдали за озером. Временную тишину нарушил тревожный лебединый крик.

— Не может быть, чтобы у кого-то поднялась рука,

озадаченно успокаивал он себя. Но это, и Матвей в этом позже убедился, была горькая правда: встревоженная небольшая стая лебедей кружила над озером, посыпая призывные крики в опустевшее вечернее небо. Несколько кругов птицы совершили над дальним широким разливом, который называли Дальним плесом. Лебедей было семь. Семь громадных белоснежных птиц, словно выпорхнувших из какой-то старой, давно забытой сказки. Стая припадала к озеру, дружно набирала высоту. Голос тревоги понятен каждому. И печаль, разлитая голосами лебедей, перелилась в сердце Матвея. Еще некоторое время они кружили, а потом растворились вдали.

— Неужто подстрелили? — озадачился Матвей. — Не может быть...

Мысли его были внезапно прерваны одиноким лебединым криком. Как казалось Матвею, голос звучал особенно тревожно. В нем слышались смертельная тоска, отчаяние и одиночество. Не по себе стало Матвею. Еще больше, чем прежде, ощущил он скрытое, спрятанное где-то в душе притупленное горе. И поэтому сразу решил, что завтра же, утром, уйдет в город, к сыну, к внукам. Уйдет от этой давящей на него тишины, охраняемой тайгой и забытым людьми селом. Ему нужны люди, а не это сиротливое озеро, плещущееся в глухой таежной чащобе, не глубокое уныние поздней осени. А тут еще эти выстрелы и тревожные лебединые крики.

Матвей позвал Венерку и, тяжело ступая, пошел к домику, стоявшему у берега. Сейчас Матвею казалось, что и домик его тоже печально смотрел в угасающие отблески уходящего дня. Не унимался лебединый зов, хотя уже вспыхнули первые подслеповатые звезды. Широкой волной прошелся тихий ветер, и долго о чем-то своем шептались старые пихтачи.

В эту ночь не спалось старому Матвею. С боку на бок ворочался он до самого утра на старом скрипучем топчане. Иногда вставал и подолгу всматривался в непроглядную ночь, обступившую этот тревожный мир таежного угла. И всю ночь Матвею слышался лебединый зов, теснящий его душевный покой.

С проблесками света Матвей вышел на крыльце. Следом, сладко потягиваясь и зевая, — Венерка. Среди черно-синих пихтачей чутко дремало озеро. Где-то там, в глубине, на далеком кажущемся дне его, покоилась серебряным полтинником непогасшая луна.

— Пошли, дорогая, сердце мое чует — беда стряслась.

Он сдернул с сарая шест и направился к берегу. Привычно опрокинул и подтолкнул к воде лодку. Под днищем ее проломился и зашуршал тонкий зернистый ледок. Перламутровые шарики воздуха затаились под прозрачными стеклами заберегов. Без приглашения Венерка вскочила в лодку и, как всегда, уселась по-хозяйски на нос. Собачье сердце ее подсказывало, что хозяин сегодня неспроста сел в лодку. Что-то будет. Охота?.. Но хозяин вел себя не по-охотничьи: не таился, вдруг принимался громко сморкаться, гремел шестом и неуклюже — без страсти и внимания — толкал шестом лодку. Вел он ее к середине, а не вдоль берега, где прячется утка. Силясь понять, зачем они плывут, Венерка озадаченно крутила головой, ставила уши и то и дело вскакивала, садилась и все заглядывала в глаза занятого делом Матвея. С волнующим сердце охотника тонким свистом «вись-вись-вись», с простуженным кряканьем поднимались вспугнутые утки, припозднившиеся на про-лете. Вереницы их вытягивались длинными веревками, потом перемешивались, завязываясь в причудливые узлы. Тонкий парок вставал над озером и бесследно таял в серебристо-сером, отошедшем от мрака воздухе. И вдруг, шумно хлопая крыльями и шлепая лапами по воде, над озером поднялся лебедь. Он с криком стал кружить над тайгой и озером.

— Не-ет, Венерка, неспроста он кружит над нами. Похоже, беда!

Венерка сиится понять, о чем таком опять говорит он. Она клонит набок голову, словно прислушиваясь, бьет хвостом и косит взгляд то на Матвея, то на озеро: вдруг кто опять полетит. Лодка вышла к Дальнему пlesу. Лес зубчатой стеной подступил вплотную и задумчиво созерцал объятый покоем занимающийся день.

Поднялось солнце. Лучи, озарив макушки пихтаций, высветили слюдяную изморозь, осевшую на хвое. Венерка заволновалась; она с храпом тянула воздух, мимолетно поглядывая на Матвея, повизгивала и крутила хвостом. Положив поперек лодки шест, Матвей привстал и внимательно оглядел порыжевшие, битые непогодой редкие заросли тростничка и рогоза у кромки воды. За курящимся парком горбились рыжие кочки мохнатого осочника. И тут Матвей обратил внимание, что у самого

берега, на травянистой косе, идущей вдоль плеса, показалось и исчезло белое пятно. Матвей засуетился, повернулся лодку и спешно стал подталкивать ее.

Крупная белая птица лежала на отмели косы. Пытаясь подняться, она с трудом поднимала крыло, которое белоснежным парусом вставало над острием косы. Завидев приближающуюся лодку, она рванулась, ударив крылом, но только и смогла, что поднять забрызганное кровью и грязью крыло. Бессильно уронила голову и шею, также забрызганные ржавыми пятнами перегоревшей крови. Венерка выскоцила и пустилась к птице.

— Назад! Якорь тебя! — властно крикнул Матвей.

И, повинувшись хозяину, Венерка, жадно ловя ноздрями воздух, заходила кругами около бьющегося лебедя. Тут же сверху прозвучало знакомое — кор-р, кор-р-р, кор-р-р! Это значило, что лебедь сердился и предупреждал: он, угрожая, пролетел над самой собакой, и она на миг вздыбила на загривке шерсть и оторопела. Ей никогда не приходилось иметь дело с лебедями, ей незнакома была их смелость и отвага. Венерка теперь больше посматривала вверх, чем на раненую птицу. А лебедиха отчаянно била крыльями, и громко, подобно стону над озером, слышался ее прощальный крик. Так же печально ответила ей ранняя утренняя даль. В промежутках между криками было слышно, как сухо шелестели перья метавшегося в небе лебедя. Розовые отсветы встающего дня играли перламутром на его сильных крыльях.

— Матушка ты моя! — Матвей подскочил к перепачканной грязью и кровью птице и, плотно прижав ее за крылья, осторожно поднял. Голова ее бессильно повисла. Страх и немой укор увидел Матвей в ее темных, чуть поблекших глазах.

— Руки бы у вас поотсохли! Якорь вас задери, — ругался он, — нет ничего святого для вас!

Словно понимая значимость случившегося, Венерка повизгивала от нетерпения. Пока Матвей нес лебедиху, собака пыталась дотянуться носом до нее и передними лапами, испачканными в грязи, все доставала Матвея.

— Уймись ты, холера! Кому говорю, — напускал строгость и строжился он. — Вот же негодяи! Матушка ты моя! Бедная! — все не унимался разгневанный Матвей.

Он накрыл лебедиху полушубком и положил на нос лодки. Дома, осмотрев ее, к радости своей убедился, что кости целы. А это значит, была надежда, что, поправив-

вшись, она сможет летать. Наспех присыпав раны золой, чтобы не гноились, Матвей уложил ее, как положено, и обмотал простыней, чтобы не билась, не бередила ран. Свободной оказалась только голова, и лебедиха, покорившись судьбе, не пыталась вырваться. К тому же она окончательно ослабла и не могла пошевелиться.

— Так надо, Матушка моя. Потерпи, милая, и, богдаст, ты поправишься и снова станешь летать,— приговаривал Матвей, отгораживая угол избы у окна осиновыми стругаными жердями. Перед несчастной пленницей он поставил чашку с водой, накрошил хлеба и, слегка стиснув ее между двумя кругляками, аккуратно уложил. Словно загипсованная, лебедиха не могла двигаться и тем более размотать простыню или перевернуться. Но до воды и пищи дотянуться было можно. Матвей запер дверь и ушел к озеру с Венеркой, чтобы дать лебедихе успокоиться.

ГЛАГОЛЬ

— Ну, что делать-то с тобой будем? Время подошло в город ехать, зима скоро, а тут вот лебединая история. Жизнь ее на нашей с тобой совести. Только бы от пищи не отказывалась, а там подлечим как-нибудь.

Венерка привычно заюлила, путаясь около ног Матвея.

— Ты вот собака. Кроме всего прочего, ум у тебя тоже собачий. Тебе бы по природе-то своей только вынюхивать да давить. Но ты у меня молодец, хоть и собака, а не алчная. Вот за это и ценю тебя,— и Матвей ласково потрепал ее по загривку, расчесанному ветрами.— А я, как человек, стало быть тебе об этом известно, а то, поди, и в башку твою мысль эта не приходила, я и подлечу птицу. Да, Венерка, вот тебе, скажи, и человек, а кто, спроси, стрелял-то — тоже человек. Так оно и получается: есть человек человечный, а есть зверь. Так вот и стрелял — зверь. Якорь его задери!

Тишину вновь разрезал лебединый крик. На середине озера, одиноко, подобно крупной белой лилии, окликая подругу, плавал самец.

— Вот горе-то еще на мою голову седую. Слышишь, как он глаголет, за версту слышно. Все зовет, бедняга,

подругу-лебедушку свою. Послушаешь — сердце напополам. Вот ироды проклятые! Руки бы у вас...

Матвей повернулся в сторону кричащего лебедя: ничего, голубчик, поглаголиши-поглаголиши, поволнуешься да и улетиши. А там помаленечку и позабудешь. А мы-то с Венеркой уж как-нибудь, подлечим.

На следующее утро, как обычно, с рассветом Матвей был на ногах. Резкий дверной скреж раздался в зябкой тишине, растревожил застывший беззвучный воздух. Следом поднялась Венерка.

— Я в город,— обратился он к собаке.— Ты останешься домовничать. Стереги дом и Матушку. Никуда, понятно?— и Матвей пригрозил ей пальцем.

Словно поняв о чем разговор, Венерка послушно села на крыльцу и беспрерывно молотила по нему хвостом, заглядывала в глаза хозяина.

— Продукты кончились. Муки да того-сего надо. Поняла? Придется пешком, распутица, никакие колеса не пройдут по такой грязи, а, почитай, верст тридцать с гаком. Матушке зерна надо, да и в городе потеряют нас. Ну бывай!

Матвей подправил на спине тощий рюкзак, перекинул через плечо ремень двустволки и еще раз, на всякий случай, пригрозив домовнице сучковатым ботажком, сутулясь при своем высоком росте, легко пошел по разъезженной и залитой дождями дороге. Венерка было кинулась вслед, но Матвей остановился, строго посмотрел на нее из-под мохнатых бровей, и Венерка нехотя поплелась к крыльцу. Долго еще сидела она, обиженно всматриваясь в дорогу, ловила чутким ухом шорох падающих листьев и отдаляющееся чавканье сапог уходящего хозяина. И несмотря на то, что ее так и подмывало догнать его, она, однако, помнила наказ.

Только через сутки, к вечеру третьего дня, Венерка уловила слухом, что Матвей возвращается. Она бросилась по дороге встречать. С трудом переставляя ноги по колено в грязи, возвращался уставший Матвей.

— Ну что, соскучилась душа твоя собачья? Это хорошо! Сейчас угощу кушаньем городским. Как там наша Матушка?— ласково заговорил он с ней.

К радости Матвей увидел, что лебедиха по-прежнему лежит, но пища около нее исчезла и она, как показалось, веселее смотрит. Он быстро разгрузил рюкзак. Насыпал ей пшеницы. Кусок ливерной колбасы сунул Венерке. За-

тем растопил печь. По избе разлилось тепло. Сквозь щели печной дверцы пробивалось пламя, отблески огнестыми зайчиками плясали на деревянном щелеватом полу и стенах. Густо запотели окна. Вскоре зашумел чайник, загремел крышкой. Не зажигая лампы, уставший Матвей пил чай впотьмах, предаваясь невеселым раздумьям.

— Возраст не шутка. Когда это было, чтобы он, Матвей, так устал от дороги? А что будет дальше? Кости и поясница ноют, похоже, дождь будет, как ходячий барометр стал.

И правда, вскоре за окном в непроглядной осенней тьме задробил по крыше и окнам мелкий просяной дождь. Не спалось Матвею. И не от того, что устал или ныла поясница. Это были ненужные тяжелые мысли. Он слышал, что не спала лебедиха, она как-то почти по-человечески тихо вздыхала и все пыталась сдернуть давящее ее облачение. Только Венерка, тихо посапывая, блаженно развалилась у порога. Перед рассветом дождь угомонился, стало глохо и тихо. Словно весь мир оглох. А когда рассветало, Матвей увидел, что за окном бело. Снег укрыл не только землю, но и белыми шматками украсил темнолапый пихтовый лес. Прозрачные льдистые иглы сшили разъезженные дорожные лужи. Только с середины озера, с Дальнего плеса, поднимался столбами туман. Тоненькими голосами переговаривались синицы, чекали шебутливые поползни. Безмятежность полуздимного утра вдруг резанул все тот же тревожный лебединый голос.

— Опять, что ли, лебеди на озере? — озадачился Матвей. — Тыфу ты! Якорь тебя задери! Да это же тот самый Глаголь! Вот беда-то еще! Погибнет ведь, как только замерзнет озеро.

Сквозь туман он пытался разглядеть лебедя. И удивился:

— Откуда знать ему, что она жива! Похоже, что ей зимушку зимовать со старым Матвеем и Венеркой.

Матвей нагреб со дна, у самого берега, побуревшие от заморозков стебли и коренья водяных растений. Набив ими корзинку, он понес ее в дом. Чашка с зерном была пустой.

— Давай-ка, милая, посмотрим тебя, — Матвей раскрутил простыню, и лебедиха с трудом встала на широкие лапы, словно обутые в темные резиновые ласты. Тут

же Матвей принял решение вывести ее на свежий воздух. Оказавшись в ограде, она настороженно вытянулась и, сделав несколько неуклюжих прыжков, шлепая лапами и удариив здоровым крылом оземь, тут же повалилась набок. Нервная болевая дрожь прокатилась по ее израненному телу. Поняв безнадежность своего положения, она встала и, подобрав крылья, окрапленные ржавыми пятнами засохшей крови, издала призывный крик и, припадая на лапу, сделала несколько шагов в сторону озера. Эхом крик ее возвратился с Далекого плеса — ей отвечал самец. И уже вскоре он прилетел сам на призыв своей подруги. Однако, увидев человеческое жилище, пугаясь, он набрал высоту и большими кругами заходил в небе. Наклонив голову, она пристально взглядалась и вслушивалась, следя за другом, который в холодном хрустальном небе осени, в этот утренний час, вспыхивал белым опереньем. Долго летал лебедь и только поняв, что напрасны его крики, опустился опять на середину Дальнего. И долго еще подавал голос, взволнованно кружась на месте.

Не раз еще Матвею пришлось наблюдать подобную картину, сопровождаемую перекличкой между верными супругами у этого забытого людьми озера и одинокого домика, до которых никому не было дела. Только во второй половине дня лебедь принимался кормиться, то опуская на дно клюв, то вставая белым поплавком вертикально, как это делают иногда утки. А Матушка в это время молча ковыляла из угла в угол по ограде, пытаясь прорваться к воде. Иногда, забывшись, она поднимала свое здоровое крыло, будто звала его, махая белым платком. Или же хотела сказать: вот видишь, лететь не могу...

— Невеселая картина,— думал Матвей,— а тут еще смотри, снег выпадет. Что тогда? Погибнет — вот и все. Летел бы себе подобру-поздорову. Якорь тебя задави!

Потом Матвей принимался ругать тех, у кого рука на них поднялась. И кончалось обычно тем, что он садился на перевернутую лодку, доставал кисет. Сыпал на шершавую ладонь махорку и не спеша набивал трубку. Только затянувшись, успокаивался.

Похоже, что за эти дни и Венерка разобралась, что к чему, а главное, что в кругу их происходит нечто особенное. Выказывала это она своим нетерпением и нервозностью, особенно в те минуты, когда слышался крик ле-

бедя. Она тут же, только заслышил переклик, подбегала к Матвею и, встав на задние лапки, передними подпирала его бок и, глядя в глаза, потихоньку повизгивала и кидалась в сторону озера.

— Умница ты моя,— говорил Матвей, и лицо его светлело. Он трепал ее за уши, гладил и похлопывал.

— Мы, Венерка, сделаем все, чтобы Матушка наша выздоровела. Обязательно на крыло поставим. А потом на все четыре стороны, попутного ветра... Другое дело — Глаголь этот. Что с ним делать-то? Замерзнет, якорь его задави, и ничем не поможешь.

Осень выдалась затяжная, хотя по ночам уже заморозки. В полдень, как по заказу, тепло и солнце. Однако с огорчением Матвей замечал, что с каждым утром ширились и крепли забереги. Уже становилось кольцо вокруг незамерзшей воды, где держался лебедь. К этому времени лебедиха уже легко ходила, но лететь больше не стремилась. Она словно поняла, что ее крыльям нужен покой. Однако каждый раз, как только заслышил призывающий крик своего Глаголя, места себе не находит, ходит торопливо из угла в угол по двору и посыпает ответные зовущие крики.

Не заметил Матвей, как сблизился не только с Матушкой, но и успел привязаться к лебедю, хотя еще близко и не видел его. Ценил его он за то, что лебедь чем-то походил на него душой; как и Матвей, хранил верность и преданность своей лебедихе. Вот и он, Матвей, решил умереть здесь, где похоронена его Дуняша. И понятно, тревога за Глаголя с каждым днем росла в его сердце.

Закоченели ветки сквозных осиновых и березовых перелесков, еще чернее стали пихтачи, и вовсе пожухли и полегли травы. Только не сдавалась середина плеса в застекленной чаше озера, среди которой белым комком снега смотрелся лебедь.

И вот к вечеру затянуло небо сплошным серым пологом туч. А утром прибавилось света от выпавшего снега, и легкий мороз веселил очистившееся небо. Чуть свет к озеру вышел Матвей. Матовое стекло льда, местами припорошенное снегом, покосилось среди бело-темной тайги. Тоскливое безмолвие околдовало природу. Почуяв снег, Венерка обрадованно хватала его, как горстями, запаленной пастью, каталась, громко отфыркиваясь и чихая. Только у Матвея мерзли руки, и он время от времени потирал их.

— Что делать-то нам дальше? Зима! — обратился он к Венерке, — стало быть, искать надо. Может, где-нибудь и здесь, а можа, улетел или еще хуже — лиса придавила.

Он опрокинул прихваченную морозцем к земле лодку и подтолкнул ее на лед. Она свободно заскользила, оставляя шероховатый след. Еще рано полагаться на лед — провалиться можно, и Матвей, толкая лодку, держался за корму. Подошли к Дальнему плесу. Здесь тоже все было скрыто льдом. Послышалось легкое потрескивание, и под их тяжестью причудливыми паучьими лапами разбежались по сторонам молнии трещин. Матвей, а следом и Венерка заскочили в лодку. Тотчас проломив лед и осев, она погрузилась в черную воду. Матвей заработал шестом; с треском и шуршанием они медленно проламывались вперед. Вставшее солнце слепило снегом, и Матвей то и дело протирал слезившиеся глаза и, потому не полагаясь на зрение, беспокойно всматривался в то место, где недавно дышала теплом середина. И, действительно, вскоре он заметил живое белое, как и все вокруг, пятно. Это был лебедь, крепко-накрепко схваченный льдом за крылья и хвост. Свободной оказалась только голова, которая на длинной шее казалась висевшей в воздухе. Выделялись его шишкастый клюв да черные мазки глаз. Дергался лебедь изо всех сил, но ничего не мог поделать пленник озера: лед мертввой хваткой держал свою добычу.

— Ах ты, бедовая голова. Дурень ты, дурень старый! — ласково приговаривал Матвей, поспешно пробиная перед лодкой лед, стараясь доплыть до него. Металась и лаяла Венерка. Она то и дело вскакивала, ставила лапы на борт и, срываясь, лаяла и визжала.

— Да замолчи ты, чертовка вертопрахистая! Я вот тебе, холера! — топал на нее Матвей и, подплыв к лебедю, осторожно вокруг обдолбил лед. Насмерть перепуганная птица, уже выбившись из сил, присмирела, подобно загнанному зайцу. Согнув вдвое шею, лебедь громко шипел, не мигая, так велик был его страх при виде около себя человека. Матвей знал, что просто голыми руками его не возьмешь. Чего доброго могучая птица, высвободив крыло, одним ударом его руку может сломать. И он скинул полушибок и накрыл его. Затем выволок вместе с кусками примерзшего льда.

— Ну и дурень! Летел бы себе подобру-поздорову в теплые края, а то вот: в дапах у смерти был. Видите ли,

он — лебедь, и потому верность свою доказывал... — пошучивал Матвей. Он втайне был рад, что Матушка не одна теперь. И какая разница, с одним или с двумя возиться. Даже — когда они вместе — интереснее.

— Ладно, ладно, якорь тебя задери! Все что ни делается, все к лучшему. Сейчас лебедику свою увидишь. Вот и будете жить у меня — Матушка да Глаголь. Оно и нам веселее станет — зима короче окажется.

В углу избы за жердями лебеди оказались вместе по воле Матвея, по велению сердца его. Только вместо купола неба над ними была тесовая крыша да стены рубленого домика. И не теплые разливы южных лиманов отражали их белоснежные фигуры, а похрустывало душистое сено, накошенное с сочных лугов Лесного озера. Теперь вместо берега свежеоструганные жерди ограничивали свободу их передвижения по избе. Около них хлопотал старый Матвей, поглаживающий свою тронутую желтизной табачного дыма бороду. Тут же сновала верная ему Венерка. Она, слушая Матвея, всегда понимающе поддакивала ему, отстукивая хвостом, тыкалась влажным носом в его руки.

— Кушайте, милые,— приговаривал Матвей, ухаживая за лебедями,— вас теперь никто не обидит. Время у нас — зима впереди, как-нибудь попривыкнем друг к другу. Афику потом увидите свою. Я вот тоже внучат ионче из-за вас видеть возможности не имею, якорь вас задери! Но что поделаешь: надо — значит надо. Не все оно получается в жизни, как хочешь. И всякий мир строит для себя по-своему. Я тоже по своему разумению все это затеял. Иначе нельзя.

Прижавшись друг другу, лебеди молча сидели и внимательно глядели на старого человека. Он все что-то делал. Все что-то говорил. Голос его на них действовал успокаивающее. Лишь мелкая дрожь выдавала напряжение и не проходящий до конца страх птиц.

Чуть свет Матвей оставлял свой топчан. Теплым золотистым светом наливались окна домика. А вскоре смолистый голубоватый дым вырастал над крышей и, цепляясь за вершины пихтачей, медленно сочился в глубь лесной чащи. Затканные морозными кружевами, окна едва пропускали дневной свет с остывшую ночь. Поэтому Матвей с утра зажигал лампу-семилинейку. Ее керосиновый дух, нагорая, создавал для Матвея старинный уют среди прокоптившихся тесовых стен. Обшитый жестяны-

ми полосками сундук, широкий деревянный топчан, скамейки и широкополая бокастая печь своим видом словно уносили в далекую пору детства и юности. Или эти вышитые оконные занавески, пожелтевшие от времени фотографии за стеклом в темно-зеленой рамке. С фотографий смотрели лица близких ему людей. Строго и внимательно следила его Дуняша за ним и за всем, что делается в избе. А вот они в день свадьбы... Матвей подолгу смотрел на молодые лица. Они казались ему теперь гораздо ближе, чем он сам себе.

Матвей переводил дыхание, подходил к пожелтевшему старинному большому зеркалу, вглядывался в свое лицо, гладил бороду и, махнув рукой, поворачивался к образу, спрятанному во мраке угла, и, что-то пошептав губами, отходил к печке, доставал кисет, медленно и аккуратно готовил, а потом набивал табаком трубку. С наслаждением затягивался дымом и подолгу, не мигая, глядел на дрожащий лепесток пламени, живущий в это время в стеклянном пузыре лампы. От огня на стенах дрожали и шевелились громадные карикатурные тени от нехитрой обстановки и от него самого. Вскоре утробной трескотне березовых поленьев в печи задавал тон чайник; вода вскипала; начинала плясать и трястись, как в лихорадке, крышка. Матвей бросал щепотку листьев чагыра или несколько корешков белочного корня. Убирал чайник с печки и ждал, пока настоится заварка. Позавтракав, он смахивал со стола крошки, набирал в торбе горсть зерна и, накинув поверх полушибок, выходил за дверь, где его неизменно поджидала ватага синиц и один-два поползня. Матвей очищал от куржака или снега кормушку исыпал корм. Менял воду в тазу и подсыпал корма лебедям.

— Ну вот,— обращался он обычно к лебедям или к Венерке,— все теперь сыты. Оно на душе веселее. Не зря же говорится: середка сыта — и края говорят. Ну что, Венерка, за дровишками или на охоту?

Услышав слово «охота», Венерка тотчас приходила в неумеренный восторг: с визгом бросалась к двери, толкнув ее лапами, бежала к хозяину, вскакивала на топчан, к стене, на которой висело ружье. Хватала шапку и рукоицы и осторожно бросала их к ногам Матвея.

— Ох и азартная же ты, шельма! Вся в мать удалась. Беда вот, охоты не стало. А тут я еще стар, якорь тебя задави. Осталось только за рыбчиками да зайчишками когда выйти. Глухаря, почитай, не стало. Много чего уж

не стало. Вот лапника нам с тобой позарез надо. Глухари зимой от червей всяких нутро чистят, оно, похоже, и лебедям тоже не лишне.

И, заговорив о лебедях, он тут же принимался костерить тех, у кого на них поднялась рука, а затем подходил и гладил лебедей.

— Ничего, переживем,— приговаривал он,— новый год уже на подходе, а там «цыган шубу продает», святки и все...

Лебеди к этому времени свыклись и лишь иногда, словно для острастки, гнули шеи, шипели, да Глаголь поднимал угрожающие крылья. Однако никогда ни клюва, ни крыльев в ход не пускал. Матвей делал все возможное, чтобы они скорее поправились: в погожие дни, вооружившись пешней, он выходил на лед, долбил лунки и железной кошкой выдирал со дна водную растительность с корешками. Растения эти резал на кусочки и бросал лебедям. Птицы охотно поедали «зимний салат», как называл его сам Матвей. И мало-помалу с каждым днем исчезало недоверие со стороны Матушки и Глаголя. Между ними зарождалась глубокая привязанность. Птицы поняли доброту старого Матвея. И он по-своему был счастлив.

— Я же знал, что попривыкните,— говорил он, подбрасывая им зелени. Иногда он ставил им в банку свежий разведененный водой сок калины.

— Это тебе надо, Матушка, выздоравливай!— обращался он к лебедихе.

И вскоре они брали корм, чистили перья без всякой настороженности. Без страха реагировали на звуки и шорохи. Все чаще Матвей стал замечать, как Глаголь подходил к перегородке и вытягивал шею навстречу ему. И тогда Матвей обязательно угощал его чем-нибудь. Однажды Матвей решил разгородить жердяной барьер.

— Пускай гуляют, а то крылья негде им расправить.

Но лебеди первое время словно не замечали, что им предоставлена свобода и только спустя некоторое время стали выходить за пределы отведенного для них угла. Насытившись, они теперь ложились, вытянув далеко ноги. Лебедиха обычно приваливалась на здоровое крыло,правляла раненную ногу и дремала. Чаще всего в минуты сна ее Глаголь стоял на одной лапе, как прежде среди родной ему стаи. В это время он зорко следил за всем, что происходило. В нем проявлялась сила привычки, вы-

не стало. Вот лапника нам с тобой позарез надо. Глухари зимой от червей всяких нутро чистят, оно, похоже, и лебедям тоже не лишне.

И, заговорив о лебедях, он тут же принимался костерить тех, у кого на них поднялась рука, а затем подходил и гладил лебедей.

— Ничего, переживем,— приговаривал он,— новый год уже на подходе, а там «цыган шубу продает», святки и все...

Лебеди к этому времени свыклись и лишь иногда, словно для острастки, гнули шеи, шипели, да Глаголь поднимал угрожающие крылья. Однако никогда ни клюва, ни крыльев в ход не пускал. Матвей делал все возможное, чтобы они скорее поправились: в погожие дни, вооружившись пешней, он выходил на лед, долбил лунки и железной кошкой выдирал со дна водную растительность с корешками. Растения эти резал на кусочки и бросал лебедям. Птицы охотно поедали «зимний салат», как называл его сам Матвей. И мало-помалу с каждым днем исчезало недоверие со стороны Матушки и Глаголя. Между ними зарождалась глубокая привязанность. Птицы поняли доброту старого Матвея. И он по-своему был счастлив.

— Я же знал, что попривыкните,— говорил он, подбрасывая им зелени. Иногда он ставил им в банку свежий разведененный водой сок калины.

— Это тебе надо, Матушка, выздоравливай!— обращался он к лебедихе.

И вскоре они брали корм, чистили перья без всякой настороженности. Без страха реагировали на звуки и шорохи. Все чаще Матвей стал замечать, как Глаголь подходил к перегородке и вытягивал шею навстречу ему. И тогда Матвей обязательно угощал его чем-нибудь. Однажды Матвей решил разгородить жердяной барьер.

— Пускай гуляют, а то крылья негде им расправить.

Но лебеди первое время словно не замечали, что им предоставлена свобода и только спустя некоторое время стали выходить за пределы отведенного для них угла. Насытившись, они теперь ложились, вытянув далеко ноги. Лебедиха обычно приваливалась на здоровое крыло,правляла раненную ногу и дремала. Чаще всего в минуты сна ее Глаголь стоял на одной лапе, как прежде среди родной ему стаи. В это время он зорко следил за всем, что происходило. В нем проявлялась сила привычки, вы-

работанная веками: когда стая спит или дремлет, сторожевой должен нести вахту. В нем говорил голос крови.

Иногда Матвей часами наблюдал, как они выходили на середину избы, разминали крылья, усиленно махая.

— Всем хороши,— думал Матвей,— только в походке малость неуклюжи. По-утиному ходят — вперевалочку, косолапя. Крылья-то, да-а...

Матвей видел, как, ухаживая друг за другом, они сплетали шеи, чистили друг другу перья и были внимательны.

— Скажи ты пожалуйста,— восхищался он,— какая красота на земле! А сколько благородства и достоинства. Главное, как в людях — внутренняя красота, благородство. Душевная птица — лебедь! Нет, не даром столько песен у нас поется про них. Вот-те и на: мы их просто птицами, тварями безумными, считаем. Мол, только мы понимаем, что к чему. А интересно получается: они тоже кое в чем не хуже нас. У них поучиться не грех, чтобы человечнее быть. А мы?!— Матвей большим кулаком погрозил в сторону озера:— Руки бы у вас поотсохли, якорь вас задери! И чего только ни уничтожили за мой век. Вроде бы все для себя делаем, а получается, наоборот,— рассуждал он,— обижаем, получается, природу. Душа у нее живая. Пораненное тело легче врачевать, а если душу ранить?

— Правильно думаю я али нет, Венерка?— обратился он к сидящей подле него четвероногой подруге. Венерка понимала одно, что хозяин добрый и говорит что-то хорошее, поэтому преданно тянула к нему морду и отчаянно молотила хвостом.

СНЕЖКА

Каждое утро Матвей выходил к окну и сыпал на кормушку то горсть зерна, то крошек, а то и кусочек сала привешивал. Поэтому всю зиму под окном его мельтешили синицы да поползни. Изредка, бывало, и дятел заглянет. Сунется туда-сюда, раз, другой долбанет, как долотом по кормушке или по стене дома, обежит ствол березы, и поминай как звали. А вот синицы, хоть расписание пиши: время хорошо знают. Запоздай Матвей, с постели подымут. То вроде бы случайно к окну прицепится одна, потом другая, то цыкнет, то стукнет. Либо

хуже еще: барабанить во всю мочь примется. Не хочешь, да встанешь. Нет, не скучал Матвей со своими подопечными. Только поворачиваться успевай.

В это погожее утро, перекинув через плечо ремень двустволки, на широких, подбитых камышом лыжах Матвей вместе с Венеркой отправился в лес. Под ногами протяжно пел и скрипел промороженный снег. Слюдяная луна медленно оттаивала в голубевшем небе. В чутком, настороженном лесу тихо и уныло просвистел лесной сыч, да сонно заговорила мягкокрылая кукша в черном пихтаче. Переавлив седловину к Заячьему логу, Матвей вышел к растрепанным зарослям кустов, скрывающих коричневато-серым войлоком тонких ветвей пойму речки Зайчихи.

— Нонче зайца пропасть,— отметил про себя Матвей, оглядывая истоптанный снег и погрызы на кустах.— А у этого словно не зубы — стамески: как ножами выхватывает,— удивлялся он, осматривая погрызы кормившегося здесь лося: осиновый молодняк был сильно иззубрен мощными зубами лесного великана. Тут же членоком ходила Венерка, тыкая мордой в снег. То вдруг она глубоко зарывала голову, жадно, с фырканьем тянула воздух, вскидывала голову, чтобы прочихаться, и снова в снег. Потом она трусила дальше, посматривая на Матвея, который медленно и спокойно двигался по лесу. Венерке совершенно было непонятно: столько разных следов и еще больше запахов, а он, хозяин, ничего не подозревает. Идет себе, как шел. Вот непонятные люди! И она забегала то вперед, то уходила в сторону. И вот Матвей заметил, что на этот раз у Венерки хвост в работе и сама крутится на месте. Он снял ружье. Но собака по-прежнему заталкивала голову в снег, тут же вынимала ее, больше похожую на валенок, обклеенный снегом, с живыми подвижными глазами. Он подошел: на снегу тянулись два веера отпечатков крыльев, похожих на бабочкины, которые оставила какая-то пичужка. Матвей понял, что птичка была ослабевшей, не могла лететь и наследила крыльями от стога, что снежным колоколом стоял поодаль, прямо к утонувшей по горло в снегу маленькой елочке. Матвей приструнил Венерку: взял ее за ошейник и пошел по мягкому следу. И вот под подолом старой пихты на взгорке след оборвался, а на снегу сидел, подобно румяному упавшему яблоку, нахохлившийся и потому круглый снегирь. Головка у него была спрятана. Он

тяжело дышал — с каждым вздохом крыльшки и хвостик у него заметно то поднимались, то опускались. Птичка не пытаясь улететь, видно было, что силы ее оставили. Матвей осторожно зачерпнул в ладони невесомую пичужку, отогревая, подышал на нее и спешно сунул под полушубок на груди.

— Какая охота, видишь? Домой надо. Будем спасать красногрудого калинника, не то богу душу отдаст. Совсем истощен. Жаль птишку! — говорил он Венерке, разворачивая на лыжню носки лыж.

Лебеди стояли у порога, словно вышли встречать хозяина и собаку. Однако, увидев их, тут же заковыляли в свой угол. Там для них спокойнее было.

— Оно хорошо, что бродите. Только вот убирать после вас, якорь вас задери. А что поделаешь, гулять не будете, сил не наберетесь.

Венерка тут же растянулась у порога. Передними зуями она осторожно выкусывала настывшие кусочки льда, примерзшие к шерсти между пальцами.

Насыпав на подоконник зерна, которым он кормил лебедей, Матвей налил в блюдце воды и выпустил снегиря. Ослабевшая птица сделала несколько прыжков к блюдцу, тут же сунула лакированный клюв в воду и стала жадно пить, с каждым глотком запрокидывая назад головку. Выбрав освещенный уголок подоконника, снегирь спрятал на спине головку, раздулся и стал опять походить на румяное яблоко, у которого с каждым вдохом поднимались и опускались крыльшки и хвостик. Занимаясь своими делами, Матвей долго присматривался, как он будет вести себя. Но снегирь просидел более часа, а к корму так и не притронулся. И вдруг Матвея осенила догадка. «Тыфу ты, черт старый, — выругался он, — совсем из ума выжил: с каких это пор калинники вот так сразу за хлеб да пшеницу берутся. Они же не приучены, на воле же не едят хлеба да пшеницы. Никто им не пекет и не сеет».

Он тут же набросил полушубок и, проваливаясь по пояс в сугробы, побрел по пустырю, что был сразу за домом. Из-под снега выглядывали коричневые и рыжие метелки конского щавеля и конопли. Матвей стал ошмыгивать их прямо в ладони, отдувая мусор. Сломил несколько макушек щирицы и лебеды. Прихватил в сенях несколько кистей калины, что припас с осени. Все это высыпал на подоконник.

— Ешь, милый Снежка!

Нахохленный снегирь сделал несколько вялых прыжков к угощению и, метнув взгляд темных маслянистых глаз на Матвея, беззастенчиво начал давить клювом калину. Алые, как перышки на его груди, капли сока стекали с клюва. А скользкие косточки, похожие на клопов, он ловко расщелкивал, медленно и аккуратно выедая вязкую мякоть.

— Вот тебе и калинник по-нашему, а ест калину не потребно,— рассуждал Матвей, наблюдая за снегирем.— У меня, например, от этих косточек скулы воротит, а ему хоть бы что, а ведь вкус-то весь в соке калины, а не в косточках. Не зря говорят, что каждому свое: дрозды и свиристели мяготь поедают, снегирю косточки давай — смешно даже получается. Хлеще еще щеглы: едкие семена чертополоха или репья с аппетитом поедают, других вкусных и не берут. Вот чудаки! Удивительно как-то все в природе устроено,— размышлял он, наблюдая за снегирем. Потом он перевёл взгляд в угол: на свежем сene вразвалку лежали лебеди, во всю длину вытянув широкие лапы-водоплавы.

Несостоявшаяся охота была продолжена назавтра. Обойдя Заячий лог, Матвей направился в осиновый распадок, где Венерка вскоре же подняла беляка. Преследуемый собакой, заяц на первом же кругу был подкараулен затанувшимся охотником.

— Ну вот молодец, Венерка!— хвалил запалившуюся собаку Матвей, надевая потяжелевший рюкзак.— На Новый год у нас пир горой будет!

Но Венерка уже не слышала хозяина: с громким лаем она мчалась к калиновому залому, подбивающему пихтовый перелесок. Матвей наскоро перезарядил ружье на мелкую дробь, и вскоре парочка рябчиков была уложена в рюкзак вместе с зайцем.

— Для порядка нам еще елочку не мешало бы. Маленькую, пушистенькую. Нельзя же нам, жителям леса, без елочки, правильно, Венерка?

Он забрел в густой ельник и в гуще подроста выбрал самую пушистую, чем-то похожую на медвежонка.

— Вот так, больше всех, пожалуй, Снежка обрадуется. То-то ему с ней как в лесу будет. Пусть торжествует наш младший ребятенок!

Припозднились. Лыжня до краев налилась темно-синим светом. Воздух стал колким. Сухо, как пакрахмален-

ный, скрипел снег. А дома вскоре березовые поленья, отдавая тепло и щедрость солнца, которую они впитали на корню своего дерева, весело перестреливались в печи, у которой, вытянув уставшие ноги, сидел Матвей и сладко затягивался из хырчащего чубука трубы. Потом выбивал табачный нагар, стучал чубуком по широкому ногтю, долго вычищал спичкой смолистый никотин, готовя трубку к следующему перекуру.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Как всегда встал он рано.

— Не мельтеши. Ляг на место. Никакой охоты — Новый год будем встречать сегодня,— одернул он Венерку, которая поняла, что опять в это утро у них будет охота.

Матвей зажег лампу. Настиргал тонких щепок от полена и аккуратно крест-накрест сложил их на колосник и только потом стал укладывать поленья, чтобы пустить в печку огонь. Тут же он принес из сеней скрученной бересты; она в каждом доме бывает: для поделок разных и вообще, в домашнем хозяйстве — вещь необходимая. Принес он шишек разных, сучков да коряг мелких. Знал Матвей, что пригодятся, и подготовил все это еще до осени. Вооружившись нехитрым инструментом, он принялся резать и пилить игрушки: из бересты вырезал фигурки зверюшек и птиц, еловые и сосновые шишки преображались в забавных безымянных птиц и симпатичных совушек. Получились забавные кудлатые пуделя, белые рыбки и два белоберезовых лебедя. Вырезал их Матвей с поразительной изобретательностью, ловко и быстро, словно всю жизнь, если что и делал он, так вырезал подобные игрушки. Только натруженные руки его говорили совершенно о другом. Они говорили, что хозяину их пришлось несладко в жизни.

Елочку он поставил в светлый угол, у окна, в ведро с водой. Так он поступал не раз: распустившееся деревце выпускает корешки; в ведро он постепенно подсыпал песку, и елочки укоренялись. С первым теплом их высаживали. Всю зиму такая елочка или пихточка свежа и дышит ароматом хвойного леса.

Смастерив игрушки, Матвей принес из сараев подопревший пень березы. Долго колдовал он над ним, и

получился березовый Дед Мороз. Как и полагается, был он в белой берестяной шубе, с такими же усами и бородой, в такой же шапочке, отороченной мохнатыми еловыми веточками. Елка получилась — игрушки развесены. Ожерелья из ягод калины и рябины придавали ей особую прелесть и нежность. Самым лучшим украшением елочки оказался Снегжка. Он тут же приглядел ее и вместо яркого шара сел на самую макушку. Остаток дня он вертелся на ней, тихо высиживая нежные мелодии своим грудным глуховатым голосом. Снегирь торжествовал, ведь елочка оказалась сейчас тем единственным осколком большой и полной лишений жизни на воле, в тайге, для которой он создан. Снегжка то и дело перепархивал по веткам, тянулся к ягодам, и при каждом его взмахе игрушки словно оживали: шевелились березовые зайцы и лебеди, словно в смехе тряслись чертики из сучков и коряг, и такие же человечки, словно в танце крутились головастые совята.

Наступил долгий зимний вечер. В одиноком домике среди темной тайги на краю белого безмолвного озера сиротливо горел огонек. В это время казалось, что земной шар был не земной, а снежный — кругом бескрайние сугна. Матвей сидел и впервые за последние десятки лет с восторгом смотрел на елочку, на снегиря, которые уводили его в давно минувшие годы детства. «Были они или не было их...» — думал Матвей. Словно он всегда и был ребенком. Может, этот снегирь, птица детской мечты и радости, навевала ему чувство это. Матвея волновало и то, что сейчас, там, в городе, так и не дождались его внучата.

«Скучают, поди, ждать еще будут», — думал Матвей, пуская дым самосадный в поддувало раскрасневшейся печи.

Больше всех волновалась Венерка. Ей не давал покоя запах тушеной дичатины. Не в силах побороть желание полакомиться, она крутилась около Матвея, подхалимски заглядывая в глаза, чтобы он обратил внимание. Угадывая ее желание, Матвей ласково поругивал ее.

— Ишь ты, шельма, политику твою знаю, слону-то вон как пускаешь, якорь тебя задери, нос твой собачий!

Колкой стужей дышала последняя декабрьская ночь. Оттаявшие за день окна снова затянуло шубой беспросветной изморози. И вновь, может, елочка, а может, эти зайндевевшие окна воскрешали в нем те давние времена,

когда они, деревенские ребяташки, такими же вечерами толкаясь у окошка, рассматривали узоры окна; их, по рассказам взрослых, рисовал Дед Мороз, который почему-то всегда приходил и уходил незамеченным, словно невидимка. Вспомнилась печь в родном доме — всегда теплая и приветливая, испускающая в предновогоднюю ночь густой дух калиновых и черемуховых пирогов и вечно пьянящий аромат пухлых шанежек и свежеиспеченного хлеба, сделанного на опаре. По таким же узорам они чертили ногтями, дышали на окна ртом, прижав к нему губы, или выгревали пальцами на куржаке окон светлые дырки, в которые потом смотрели на улицу. Время от времени он посматривал на мерно отстукивающие ходики, которые сейчас будто преднамеренно замедлили ход стрелок. Однако стрелки приближались к двенадцати.

— Ну что, дорогие мои, праздник встречать будем?!

Матвей подошел к старинному, обшитому жестяными полосками сундуку, откинул крышку, изнутри сплошь оклеенную разноцветными старинными купюрами, конфетными обертками, исписанными витиеватыми и замысловатыми буквами. С крышки жестяной баночки из-под леденцов, в которой хранили пуговицы, как и встарь, на него смотрели все такие же молодые розовощекие девицы. Только крестастые буквы ять в конце слов казались уже непривычными. Матвей вынул и надел праздничную льняную косоворотку, вышитую крестом. И, подойдя к зеркалу, кое-как застегнул ворот: пальцы плохо слушались. Поверх рубахи затянул красного шелка кушак, завернулся вокруг икр полосатые, старииковской расцветки брюки, втолкнул в валенки. Старым желто-роговым гребнем аккуратно причесался на пробор. Расчесал и пригладил бороду. Сел за накрытый вышитой скатертью стол, положив перед собой большие натруженные руки. Он словно ждал, что вот сейчас появится его Дуняша и, как прежде, станет хлопотать вокруг праздничного стола в ожидании гостей. Но только мерно потрескивали поленья в печи, шелестели крыльями, ощипываясь, лебеди. Матвей сидел молча, прислушиваясь к самому себе, словно хотел дознаться, что это у него на душе делается: или легкое чувство утраты, связанное обычно с уходящим годом, или ожидание чего-то нового, неизвестного, или это приглушенная временем боль всколыхнулась. Жизнь-то прожита, что впереди — неизвестно... Срываюсь, словно

муха в старой паучьей сети, сипло и гнусаво зашумел вскипающий чайник. Все также ровно и жестко говорили заученное наизусть ходики: так-так-так...

Матвей бросил взгляд на стрелки.

— Ну что, якорь вас задери! — обратился он к своим домочадцам. — Время-то всего ничего осталось. Пора!

Матвей достал приготовленную для такого случая пачку свечей, расставил их и зажег по всем углам и переделышкам. Изба налилась ярким мерцающим светом. Наполнилась тихим шипением огня. Вокруг стола Матвей расставил скамейки. В чашку налил сладковатого сока калины, набросал крошек. На скамейку водрузил лебедей. Они не сопротивлялись, только непонятно им было, чего это хочет от них человек. И поэтому беспокойно озирались по сторонам, глазели на свечи, окрашенные лепестками огня, и вслушивались в вкрадчивые слова Матвея, который все что-то говорил своим успокаивающим голосом. Около себя на пол он поставил венеркину чашку, до краев наполненную жарким. Зайчатина источала такой аромат, что Венерка чуть было не потеряла рассудок, пуская тягучую слону. Но Матвей не разрешил ей трогать угощения, пока не подошло время.

С чаши весов старого года истекали последние минуты. И Матвей вдруг вышел на крыльце: темно-синий бархат ночного неба, укрывшего заснеженную землю, был густо прострелен гроздьями звезд, беззвучно мигающих и шелестящих. Словно еще вчера здесь стояло село, темнели дома, окруженные ребристыми заборами, за ними, у темнеющих стогов и амбаров, хрюмкали сено лошади и коровы, изредка взлаивали собаки. Подгулявшие односельчане выводили под гармошку раздольные песни. Но сейчас никого. Только фосфоресцирующее звездами небо и сторожкая тишина на чутком промороженном снегу. Матвей бросил взгляд на соседний взгорок, на котором темнело забитое снегом кладбище, и вошел в избу.

Лебеди продолжали по-прежнему сидеть на скамейке, и, положив голову на передние лапы, поглядывая на чашку с едой, страдала Венерка. Только Снежка, пристившись на макушке елочки, сидел красным надутым шариком. Он спал и размеренно, подобно маятнику, в такт двигались концы его крыльшечек и разрезанный на двое хвостик. Стрелка часов, словно специально замерла около двенадцати. Матвей поставил перед собой зеленую

четвертинку и светлой шипящей медовухой наполнил бокал. Торжественно поднял его.

— Вы бессловесны, поэтому я, как и полагается, говорить буду. По-нашему, тост говорить буду,— Матвей обращался к лебедям, которые подобно двум статуям, выточеным из белоснежного мрамора, неподвижно и даже слегка насупившись, стояли, прислонившись друг к дружке, изогнув свои белые шеи. Глаза их беспокойно вглядывались в Матвея, их темные клювы, увенчанные темными набалдашниками, смотрелись контрастно и красиво. Шишки на клюве придавали им некоторую сановитость и величие.

— Так вот, друзья мои. Этот новогодний бокал я хочу выпить прежде всего за всех нас: за вас, Матушка и Глаголь, за себя и за тебя, Венерка, тоже.

Матвей держал бокал, а перед ним молча стояли лебеди, их гигантские тени рисовались на стенах подобно мифическим духам — странные и расплывчатые. Горячее нетерпение проявляла Венерка, Матвея она слушала вполуха и смотрела вполглаза на жаркое и почти по-человечески тяжело вздыхала. При этом она нервно зевала, сопровождая это скучное занятие звуком: «а-а-ах!»

— Так вот,— продолжал Матвей,— за нашу дружбу! Главное — за верность, из-за которой мы все здесь сегодня и встречаем вместе Новый год. За верность, за лебединую верность!

На мгновение Матвей нахмурил серые брови, глянул в заоконную тьму, туда, где на пригорке, облитом стужей и тишиной, утопали в сугробах кресты. Набрал полную грудь воздуха и тяжело перевел дыхание.

— За верность, с Новым годом!

По русскому обычаю, Матвей слегка брякнул бокалом о зеленое стекло четвертинки, издавшей утробный лязг, и одним духом осушил бокал. Обтер усы, огладил бороду.

— Угощайтесь, ешь, милая Венерка!

Не ожидая особого приглашения, Венерка, накручивая хвостом, хлопая губами, принялась выхватывать поначалу мясное, а уж потом дошла очередь и до картофеля. Вылизав до блеска чашку, она угодливо села около, не унимая хвоста и не спуская глаз с хозяина. По-прежнему молча и насупившись сидели лебеди, прислонившись друг к другу. Они словно глубоко задумались над тем, о чем говорил Матвей. Протянутые им куски хлеба смоченные в разведенном калиновом соку, понрави-

лись, и, как белые две руки, потянулись к нему шеи. Матвей подвинул чашку, и лебеди беззастенчиво принялись за угощенье.

— Ешьте да поправляйтесь. Чтобы в новом году на крылья стали, а то такое дело не годится. А ты, старина Глаголь, вообще молодец. Ты — настоящий друг! А тебе что еще,— обратился он к Венерке,— сейчас еще дам, душа твоя собачья.

И Матвей подвинул ей еще порцию жаркого. Снова заклокотало горлышко четвертинки, разговаривающей с бокалом. И опять Матвей тенькнул их, прежде пожелав лебедям чистого неба, а еще — чтобы над ними никогда не звучали выстрелы...

Долго сидел, подперев кулаком отяжелевшую голову. Положив кловы на спину, давно уже дремали в углу Матушка и Глаголь. А явно переевшая Венерка растянулась, выпятив живот у самого порога, там было попрощадчее, и ей крепко спалось на сытый желудок. Обхватив взлохмоченную голову, Матвей хмурил брови и, прикрыв глаза, все что-то бормотал про себя, чуть заметно шевеля губами. Догорали, потрескивая, свечи, разливая текучий воск, и в глубоком сне едва заметно шевелился хвостик у снегиря, что, подобно огнистому шарику, сидел на самой макушке елочки.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Потекли вереницы зимних дней, так похожие один на другой. Только и перемен, что морозы сменялись выюжными днями, пушили многодневные бураны, и опять морозное солнце с особым пристрастием высвечивало таежный лес, одетый пухом инея и куржака. Как прежде, Матвей каждодневно подкармливал у окна пичужек. За это время совсем свыкся Снежка, и целыми днями, когда солнце золотило окна, распевал свою тихую и немножко грустную песенку. Это была песенка зимы, но пелась она о весне. Матвей тоже ждал этих дней, еще одной своей поздней весны. Все чаще они уходили с Венеркой в лес. Возвращались иногда поздно. Подолгу в ушах у него стоял глухой напев осевшего шероховатого снега. Перед глазами дымились синие полосатые снега и прошитые солнцем перелески, испещренные пометками звериных следов. Нередко, выйдя на крыльцо подышать воздухом,

он видел, что крепко слежавшийся февральский снег срывается с пихтовых лап. Облегченно расправлялись ветви одна за другой, и шевелились деревья. Оживал лес, поднимал занемевшие за зиму суставы ветвей. Бойчее звенели синицы, и ровные ряды сосулек дружно сверкали под карнизом деревянной крыши домика, истекая жемчужной капелью. Вместе с повеселевшим солнцем и звоном синиц тепло подступающей весны просачивалось в старое сердце Матвея, поило силой его, звало к жизни. Чаще стали появляться около дома нахальные сойки. Они громко «жакали» и, натопорщив роскошные рыжие хохлы, гонялись друг за другом, осматривали, мягкокрыло перепархивая по ветвям, макушки их и ныряли к основанию стволов, отыскивая корм. А вскоре Матвей увидел на соседней поляне, облитой ослепляющим солнцем, росписи глухаринных крыльев.

— Ну вот и глухари запузырились! — весело сказал он Венерке, — весна началась.

И действительно, с каждым днем весна становилась смелее: растопила на солицепеках снега, обнажила первые проталины. Появились первые подснежники, и, как всегда, Матвей первый букетик их унес на могилу Дуняше. Потом, как полагается, прошумели первые дожди, пожаловали первые скворцы, закучерявшась впервые дымка берез и осин, прокуковала первая кукушка, соловей... Одним словом, случилось то, что случается после долгой зимы.

Однажды утром Матвей вышел из дома, держа в ладонях Снежку. Снегирю явно не нравилось, что его так бесцеремонно зажали в теплые ладони: он пытался кусаться своим широким блестевшим клювом, выкатив темно-круглые глаза. Матвей раскрыл ладони, снегирь снялся и сел на березу. Несколько раз фитькинув, он нырнул в пихтачи, разбитые сединой весенних осин и краснотой березовых крон. Будто он попутно залетел в гости к Матвею и теперь торопился в манящий лес.

— Бог с тобой, милая птичка. Прощай, Снежка! — помахал ему вслед Матвей.

Лед на озере продержался до мая. Заметно волновалася Матвей, когда впервые выпустил лебедей на свободу.

— Улетят или не улетят? — терзала его мысль.

Но лебеди спокойно направились к воде и, оглядываясь, медленно пошли от берега. Вернулись под вечер и также спокойно зашли в открытые двери, в свой угол. Матвей доволен был этой встречей. Но еще более радовало, что развязал себе руки. Теперь они сами кормиться способны. Природа брала свое: лебеди все время пропадали на воде и лишь иногда в ранние часы приходили к дому. Матвей насыпал им зерна, разговаривал с ними. Насытившись, лебеди, преисполненные достоинства, величаво, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, уходили к озеру. Матвей часто видел, как Глаголь, стремительно набирая высоту, ходит кругами над лесом, не оставляя лебедихи, а она, разбежавшись, начинала припадать на бок, долго безуспешно шлепала по воде и не могла никак встать на крыло: бороздила им и устало опускалась. Потом они взволнованно переговаривались, пока лебедь не возвращался.

С каждым днем чаще и чаще после воздушных реверансов Глаголь демонстративно плавал перед нею: ставил горбом крылья, топорщил на них перья и, как под белыми парусами, в которые дул ветер любви, подобный бутону гигантской розы, кружил около лебедихи, гордо изогнув при этом шею. Она же, напротив, в эти моменты держала шею прямой, словно подчеркивала осанкой присущее даме достоинство. Потом они сближались в поклонах, опускали и разом поднимали головы, и, подобно белым гибким рукам, сплетались их величественные шеи.

В пылу нежности Глаголь изрекал нежные глуховатые звуки. Тогда Матушка, как бы зазывая, покорно гнула к воде шею и негромко цыркала. От избытка страсти Глаголь разбегался по зеркальной воде, увлекая за собой подругу, и слышно было, как в полете сухо скрипят под напором воздуха перья его белоснежных крыльев. Но радость полета Глаголя омрачалась для Матвея неспособностью Матушки подняться в воздух; обессилев, она оставалась на воде, так и не взлетев.

Подолгу иногда засиживался Матвей у своей опрокинутой лодки, наблюдая любовные игры лебедей в брачную пору весны. Матвей надеялся, что они будут размино-

жаться. Особенно нравилось ему сидеть по вечерам, когда алый огонь позднего неба сливался с зеркальной гладью недвижных вод озера. Охваченные отсветами вечернего пожара, лебеди наслаждались свободой и покоем. А вскоре Матвей заметил, что они пытаются мастерить гнездо в заломах зыбкого кочкарника; птицы собирали и носили туда стебли рогоза и корешки.

В тот же день он наспех сколотил небольшой плотик из жердей. Обложил его кусками торфа, чтобы островок больше походил на настоящий, и отбуксировал к зарослям. Там замаскировал его и набросал поверх прошлогодних стеблей. Придуманное сооружение лебеди приняли и охотно забрались на него. А на следующий день приступили к постройке гнезда. Теперь большую часть времени они проводили подле гнезда, и лебедиха усиленно кормилась и вскоре плотно села. Все последующее время Глаголь настороженно, кругами, плавал вокруг заветного островка и, заметив хищника в небе, беспокойно кружился подле гнезда, издавая свое грозное «кор-р-р». Иногда подолгу неподвижно он стоял подле наснижающей лебедихи, охраняя ее покой.

В один из дней Матвей направил лодку к гнезду птиц. Разгадав его намерения, Глаголь выплыл навстречу и, поднявшись на лапы, бурил ими воду и стоял во весь рост, расставив широко крылья, подобно борцу, приготовившемуся к схватке. Голос тревоги и гнева сотрясал его грудь и шею. Втянув шею, среди плоской кучи сидела Матушка.

— Вот и прекрасно! Молодцы,—тихо растягивая слова говорил Матвей. Глаголь, вставая на лапы и громко шипя, делал вид, что нападает, но ни разу не коснулся Матвея. Только лебедиха доверчиво смотрела на него и зашипела только тогда, когда почувствовала, что рука его осторожно скользнула под брюхо. Матвей знал, что не следует тревожить птиц, но не мог удержаться. Ему было нужно удостовериться, что лебеди действительно сидят. Рука его ощутила тепло крупных яиц и мягкое горячее брюхо лебедихи. Затем он легко оттолкнул лодку и, ликую в душе, еще долго ощущал тепло согреваемых Матушкой яиц. Он радовался, как мальчишка, ему страшно в эти минуты хотелось с кем-нибудь поделиться своей радостью.

— Вот так старый Матвей! Сумел поддержать и привлечь таких птиц, как лебедь. Видеть-то которых прихо-

дилось только вдали, и то редко. А тут на вот тебе. Лебеди около дома его, редкость какая! — похваливал он сам себя. — Теперь ждать будем новорожденных.

Потянулись дни ожидания птенцов. Прошел май, и в начале июня Матвей, не веря глазам своим, увидел, как около зарослей на мелководье выссыпали разом семь серовато-светлых пуховичков. Следом, гордо изогнув шеи, скользили Глаголь и Матушка.

— С новорожденными, дорогие! — крикнул глуховатым голосом Матвей.

С этого дня веселее и интереснее было видеть, как малыши и родители кормились по отмелям. Старые, обычно погрузив головы и груди, вставали торчком, работая лапами, доставали со дна растительность и бросали на воду. Тут же ватага плюшевых лебедят набрасывалась на добытый корм и, лапотя темными клювами, разделывалась с ним. На ночь они неизменно выбирались на плот: там ночевали и отдыхали.

Прошла неделя, и птенцы заметно подросли. И однажды, когда Матвей утром вышел из дома, он был приятно удивлен и обрадован: вся лебединая семья стояла у его порога. Впереди, выпятив грудь, встретил его Глаголь. Птенцы, напугавшись, бросились к Матушке и старались оказаться позади нее, чтобы быть подальше от этого страшного великана.

— Миости просим! — развел руками Матвей. — Давно ждали вас, пожалуйста!

Он вынес зерна и рассыпал его перед новоиспеченной семьей. Чтобы молодые не волновались, он отошел и сел на крыльце, уложив около себя Венерку. Однако лебеди есть не стали. Они развернулись и медленно пошли к воде. Удивлялся Матвей: неужто так просто приходили попроведовать, а может, семью хотели показать? Вот умницы!

Много еще встреч состоялось на берегу у приветливого лесного домика. Много раз шумели ливни и дожди, и много вечеров провел Матвей у озера, провожая вечерние зори, в сливающееся с лоном стеклянристой глади озера. За это время откуковала последняя кукушка и отзвенели комаринные перегуды. Только тоскливо куличинное песнопение нарушало тишину, оседающую на ночь в этот забытый людьми уголок.

Подкрадывалась стыдливо осень. Первые ночные заморозки выжгели зелено-осочные луговины, поникли колосья житняка и метелки полевицы. Скупее просачивалось солнце сквозь синюю дымку сентября. Серебристым пухом вспыхнули лесные просеки, заросшие кипреем.

К осени молодые размерами почти не отличались от взрослых. Только цвет пера делал похожим их на лебединых золушек: они были серые, словно слегка присыпанные золой и ржавчиной. Но теперь на озере у дома Матвея кормилась целая стая. И что бы ни делал Матвей, обязательно посмотрит, ведь семья эта — дело его заботы, и он от сознания этого был по-своему счастлив. Однако с тревогой наблюдал за тем, как стая дружно вдруг пускалась в разбег по воде и в следующий миг поднималась над озером, и только Матушка, едва поднявшись, тут же падала и, волнуясь, металась на воде и с тоской смотрела на свою семью, ведомую Глаголем.

— Неужели не сможет летать? — не раз мучил себя вопросом Матвей, хотя отмечал и то, что с каждым разом поднималась она выше, что сила крыльев помаленьку росла. Но как быть, когда осень у порога? Стремление к полетам заметно росло среди лебедей с каждым днем. Все чаще они уходили ввысь, скрываясь в осенней дымке, и вскоре же неизменно возвращались. Они возвращались к озеру, где их, волнуясь, ждали лебедиха и переживающий за нее Матвей.

И вот однажды над озером объявилась стая чужих. Лебеди несколько раз прошлись вокруг озера и стали снижаться. Матвей подозвал Венерку и крепко схватил ее ошейник, чтобы не пугнула чужаков. Совсем низко стая прошла над облетевшей осиновой рощей, над зубчатой стеной пихтча, над домиком, стоявшим под кудлатой облетевшей березой и, раскинув широко лапы, взбуривавая перед собой воду, красиво опустились, рассыпавшись по воде. Несколько минут они настороженно осматривались и уже потом стали сужать круг, сплываясь. На встречу с ними первым подплыл Глаголь, а уже потом, приветствуя друг друга поклонами и потрясыванием хвостов, со стаей сплылись молодые и Матушка. До боли в глазах вглядывался Матвей, стараясь не упустить из виду своих стариков. Но где там, белоснежные,

похожие до капли друг на друга птицы сразу же перемешались. Поди узнай, кто где?

Понравилось чужакам Лесное озеро. Остаток дня они усиленно кормились по мелководьям. Ближе к сумеркам стекались к середине: там безопаснее. И живая белая кипень из лебедей, как думалось Матвею, о чем-то своем совещалась. Выплеснув последние краски в чистое поле западного неба, уходящий навсегда день тихо прощался с таежными падями и полевыми ширями, с клочками облаками, нависшими над озером, утопившим в чреве своем зыбкое отражение зубчатых вершин леса.

Стемнело, и Матвей уставшей старицкой походкой, погруженный в собственные мысли, шел к дому, приветливо смотряющему стеклами окон в осеннюю даль: на черные мазки хвойного леса, на серые полушилки осиновых перелесков и на лебединую стаю, скучившуюся перед отлетом.

Не зажигая лампы, Матвей прилег на свой широкий топчан. Тревожное ожидание чего-то не давало покоя. И о чем бы ни думал, мысли его возвращались к одному и тому же: улетят или нет? Ночь за окном съежилась до черноты, и что-то угрожающее зредо в ее непроглядной тьме. Вдруг Венерка резко поднялась и, едва слышно цокая когтями по полу, направилась к двери. Насторожилась, вслушиваясь, шерсть вздыбилась на ее загривке, и грозное рычание проползло по избе. Затем стала скрестить и повизгивать,

— Кто это к нам в такое время? — вставая, пробурчал недовольно Матвей.

А Венерка скребла еще сильнее и вертела хвостом.

— Похоже, своих кого-то узнала, — сказал он и толкнул дверь.

На крыльце, у порога, словно обернувшись в белые простыни, стояли Матушка и Глаголь. Ошеломленный Матвей не сразу понял, что это лебеди пришли домой. Вслушиваясь в робкий шепот деревьев и мерный всплеск озерной волны, он убедился, что все в порядке.

— Давайте в избу, милые вы мои Глаголь и Матушка, — ласково заговорил он. — Все-таки вы пришли, домой пришли, к старому Матвею. — Он пропустил их вперед себя. Лебеди молча зашлепали по полу в свой угол. Встали. Было слышно, как слегка посвистывают их носы, словно они в чем-то провинились и пришли просить прощения у старого Матвея. И Матвей зажег лампу. Сел

около них и осторожно, будто трогая спящего ребенка, гладил их спины, шеи и тихо приговаривал:— Неужто мне опять с вами зиму зимовать! Красивые вы мои!— И он гладил и гладил их своей широкой шершавой рукой.

Утро постучалось в окно Матвея озябшей синицей. Раскачивалась, кланяясь непогоде, стоящая за окном береза. Будто маленьким коготком, осторожно стучала по стеклу оцепеневшая от холода веточка. Тяжелое свинцовое небо, завешанное драными тучами, склонилось над лесом.

— Да-а! Похоже,* вот-вот снег пойдет. Что делать-то будем, Венерка?— обратился он, выйдя на крыльце. Следом, покачиваясь из стороны в сторону, вышли лебеди. Они также молча направились к пепельному, перемешанному ветром озеру, на котором, подобно белым клочкам пены, покачивались лебеди. Глаголь вскинул крылья и бегом, взбуривая под брюхом воду, помчался к стае. Следом залопатила и Матушка. Птицы встретились. И вот над озером покатился громкий переливистый крик, вспоровший оглохшую ненастную тишину. Крик растревожил стаю, растревожил сердце Матвея.

— Ну чего вы, милые? Давайте летите же, летите!

И, словно услышав голос его сердца, еще больше зазвоновала стая. Пуще наморщилось от прихлынувшего ветра озеро, закрутились сбитые им последние листья осин. И вдруг разом взорвались лебединые крылья. Пробороздив воду, белокрылая стая дружно поднялась и стала набирать высоту. И только один из них начал заметно отставать, припадая на одно крыло, вскоре потерял высоту и, сделав полукруг над озером, вернулся на воду. Сжалось от боли сердце Матвея: стая пошла в обход его вотчины. Птицы, сбиваясь, пытались выстроиться, но перемешивались, и летящий впереди лебедь заворачивал стаю к озеру. Но вдруг птицы устремились к югу и стали медленно уходить, уменьшаясь на глазах, пока все не скрылись. С глубоким разочарованием наблюдал картину расставания Матвей.

— Все, одна! Осталась совсем одна!

Сердце щемило. Неподвижно, словно окаменев, стоял он одиноко на неприветливом в этот час берегу и смотрел в опустевшее небо. Матушка нервно кружилась на середине озера.

— Вот так, Венерка. Не смогла улететь Матушка, не прошла боль в ее крыле. Что делать-то будем?

И вдруг Матвей увидел, как вдали над лесом появилось светлое машущее пятно. Он протер слезившиеся от напряжения глаза: летел Глаголь. Он быстро терял высоту и, едва коснувшись воды, вновь стал подниматься. Еще больше заволновалась лебедиха, ей передавалось стремление подняться в воздух и лететь. И вот Глаголь, едва не коснувшись ее, опять легко взмыл в небо. Словно он шепнул ей что-то такое, что неодолимо ранило ее сердце. Может, он позвал ее в далекое путешествие за высокие дымящиеся в небесах горы или за ласкающие глаз безмерные неспокойные моря. Ясно было одно, что звал он ее туда, куда тысячелетиями улетали с родины их предки, куда, покуда на земле будут жить лебеди, будут летать их потомки. Вскинув простреленные крылья, лебедиха, собрав волю и страсть, стала подниматься. Некоторое время она неуверенно, едва заметно припадая на крыло, поднялась над лесом и, превозмогая скорее всего утраченную уверенность, чем боль, успешно засработала крыльями.

— Господи, помоги ей,— шептал Матвей,— давай, давай, милая, не подведи!

Глаголь, летящий далеко впереди, вдруг развернулся, обошел круг и стал нагонять лебедиху. И вот Матвей уже видит, как он идет следом. Летит, как положено: крыло — в крыло, взмах — в взмах. Лебеди быстро махали крыльями, вытянув в струну длинные шеи.

— Ну, вот и порядок, якорь вас задери! — выдохнул повеселевший Матвей.— Ушла, смогла! Я же говорил, что улетит. Вот видишь, Венерка, все, как надо. Все обошлось!

Уже белыми голубями виднелись лебеди в серой мутной дали. Матвей напряг зрение.

— Неужели опять не может лететь? — озадаченно он спрашивал себя. Лебеди летели назад. Низким кругом, ровно и чисто, прошли они над обеспокоенным ветром озером, над очкастым домиком, в котором нашли приют и тепло человеческое, и вот, скрипя перьями, низко, высвистывая крыльями, пролетели над Матвеем, стоявшим с Венеркой. Боясь потерять их из виду, Матвей, по-мальчишески задрал голову, крутил ею во все стороны. Глаголь и Матушка завершили прощальный круг и стали удаляться. Молча и подавленно Матвей махал им вслед своей широкой рукой; не спуская глаз с них, он видел, как ежесекундно они уменьшались, таяли в серой непри-

ветливой дали и вскоре растворились в том направлении, куда только что ушла стая. Небо вовсе опустело, но Матвей еще долго стоял и думал о чем-то своем. Взгляд его привлекло одинокое лебединое перышко, плавными кругами опускающееся на серую от непогоды воду. Трудно сказать, о чем думал старый человек, глядя на одиночное, чистое и белое, как осколышек зимы, перышко. Может, в нем он узнал самого себя, такого же одинокого и такого же по-детски чистого. Это было все, что осталось в его памяти от благородных птиц, у которых так велико чувство верности. Перышко коснулось воды, бестолково закружилось на месте, как Матушка, в свое время отстав от стаи, и, влекомое ветром, крошечным невесомым парусом стало удаляться от берега. Уплывать от Матвея в свою стихию, название которой — воля.

— Даже это маленькое перо, и то рвется к ветру, послушно следя за ним, как и его хозяева птицы. Прекрасные птицы, — рассуждал Матвей.

И это маленькое, ставшее дорогим для него чудо вскоре затерялось среди мелкой волны неспокойного озера. И не сразу заметил он, что на его белую, словно одетую в иней голову, подобно невесомым лебединым перьям, падает первый снег. С каждой минутой снежинок прибывало. Начался буран. Даль густела белым войлоком. Поседело небо, за зыбкой стеной утонул лес, исчезло озеро. Хлопья лепешками падали на смолистые бока лодки и оборачивались крупными каплями на его теплых, иссеченных венами руках. Они обклеивали его голову и широкую бороду. Счастливая Венерка, шерсть которой покрылась тоже хлопьями, радостно отфыркивалась и, словно очищая себя от всего, что было до этого, принялась кататься на спине, болтая лапами, тряслась головой, чихала и, отряхнувшись от налипшего снега, снова каталась и хватала его горячей пастью.

— Ну, что, Венерка, теперь и нам пора, — тихо проговорил Матвей и, направившись к дому, добавил: — Завтра же едем в город.